

К 50-летию снятия блокады Ленинграда

# “ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ СОХРАНЯЛАСЬ”

— вспоминает Вера Красовская

Юбилейные даты обязывают к исторической памяти. Воскресить события полувековой давности поможет книга “Роберт Гербек” (1992), написанная Н. П. Сахновской — женой и музой замечательного артиста, в прошлом — также артисткой балета театра имени С. М. Кирова.

А вот еще одно свидетельство эпохи — программа ленинградских театров за декабрь 41-го года. На первых страницах — материал о концертах для защитников города. Приведу небольшую цитату: “В маленькой комнатке деревянного домика, где едва уместилась группа летчиков, артистки театра имени С. М. Кирова Красовская и Корнева танцуют Пичикато из балета “Коппелия”. Рояля здесь нет, но острый, затайливый танец Делиба доносится в “зрительный зал” из раскрытых дверей соседней комнаты. Здесь мастерам звучит струнный квартет доцентов и аспирантов Консерватории т.т. Белякова, Иршаи, Лаппа и Безгинского... Но вот концерт окончен, а расставаться никому не хочется... Зрители и актеры чувствуют истинный смысл и значение этой встречи, встречи патриотов, готовых отдать всю свою жизнь, знания и умение делу истребления фашистских мерзавцев”.

Одна из героинь этого очерка — известная всему балетному миру Вера Красовская любезно согласилась поделиться с читателями газеты воспоминаниями о блокаде. В рассказе Веры Михайловны не слышно было громких слов о “патриотизме”, “готовности отдать свою жизнь” и прочем, да и вообще-то настроиться на волну воспоминаний оказалось не просто. Начать разговор помогла чудом уцелевшая пожелтевшая от времени фотокарточка. Перед фотоаппаратом

расположилась полукругом группа артистов и морских офицеров. На лицах играет солнце, но все женщины — в длинных пальто и шляпах, только миловидная девушка в центре группы держит пальто на руке. Волосы подвязаны косынкой, на ногах — светлые туфли на высоком каблучке. Девушка приветливо улыбается. Это и есть Вера Михайловна, в те года просто Верочка Красовская.

— Вид у вас здесь почему-то веселый.

— Ну так, миленькая, мы, наверное, поели. Моряков кормили хорошо, их все-таки снабжали.

— А почему вы остались в Ленинграде, а не эвакуировались вместе с театром?

— Я заболела дизентерией. У нас уже и вещи были сданы в багаж — и мамы, и брата. Пришлось взять вещи обратно (состав стоял долг). Из-за меня вся семья осталась в городе, вырваться удалось лишь через год. Самым страшным был первый день войны — как удар. Но энергия жизни сохранялась: все так же ели, спали, жили как заведено. А уже вскоре город стал как могила. Для других голод начался еще раньше, чем для меня, ведь до 9 ноября мы концертничали. Потом, правда, все кончилось и концерты возобновились только 23 февраля, в день Красной Армии. Хотя и это было тяжело — идти пешком через весь город — например, от Исаакиевской площади, где мы жили, до госпиталя возле Смольного. Ведь надо было еще нести чемодан с костюмами. Потом я стала носить их в рюкзаке — так было легче.

— А что вы танцевали?

— Пичикато из “Коппелии” и Испанский танец — сама что-то сочинила. Сначала танцевали вдвоем, потом я осталась одна. Случалось,

танцевала и на грузовиках — всякое бывало.

— Неужели танцевали на пальцах?

— А как же иначе? Выходить на сцену было кошмарно. У меня и вообще-то мало мяса и кости хрупкие. А тут я стала совсем скелетик несчастный.

— Ну хоть какая-то радость была от того, что танцевали?

— Радости уже не было никакой, я еле на ногах держалась. Была радость, когда ехали на какой-нибудь корабль, потому что знали — там покормят. Правда, и там иногда шутки выкидывали: раз предложили нам с Галей Скопой пива, а в него подмешали водку. На голодный желудок. Я еще как-то ничего, а Галя прямо умирала. Кричала на офицеров: “Как вам не стыдно!” Они потом извинялись.

Однажды мы приехали к морякам, нас сразу повели поесть, поставили на стол вазу с хлебом. В секунду хлеба не стало. Поставили снова столько же — и снова ваза опустела. Нас предупредили, что в помещении, где мы ночевали, водятся крысы. На ночь я зашила хлеб в трусики и повесила повыше. Вообще-то мы брали с собой баночки и все, что давали, старались унести — если было для кого.

— А что давали есть?

— Помню такое меню: на первое суп с белыми макаронами, а на второе — серые макароны.

Один раз я даже “раздобыла” немного дров. Мы давали концерт в госпитале на Фонтанке — в том большом доме, что напротив сада Буфф. В комнате, где мы переодевались, была печка, а рядом — поленица дров. Так я вместе с костюмами упихала и несколько поленьев. Как мама радовалась, когда мы наконец затопили печку!

— Запасов у вас не было?

— Нет. Мы были очень легкомысленные люди. Правда, сахарный песок был и успели еще засушить сухарей. Помню, приходил Боря Fenster — он очень боялся бомбежек, и мы сидели у нас в коридорчике с ванной как в убежище и жевали сухари.

— А с кем-нибудь из театра виделись?

— Какое там! Было не до театра. Все сидели по домам и берегли последние силы. Иногда видела Бориса Владимировича Асафьева — он жил в том же доме, где Институт истории искусств — наверху, напротив нас. Как-то зашла к нему за чем-то и вижу — сидят три старушки. Оказалось — две его сестры и он сам, заматанный платком. Тогда все надевали на себя, лишь бы не закончить. Милейший был старик.

— Разве Асафьев был тогда стариком?

— Мне он таким казался. (Вера Михайловне было тогда 26 лет, Борису Владимировичу — 57. — О.Р.)

— А что вы делали, когда не было работы?

— Сидела дома. Страшно было. Лежала с мамой в постели, в пальто, обуви, шапках. Делать все равно было нечего — ни постирать, ни помыться как следует.

— Наверное, много читали?

— Нельзя читать было — света же не было. К тому же, помню, я выяснила одну вещь — нет почти ни одной книги, где не говорилось бы про еду. Обычно этого как-то не замечаешь, а тут начнешь читать и — ба! — непременно кто-нибудь съел кусок хлеба с сыром, кто-то победил! Голод становился еще нестерпимей.

И все-таки я каждый день вставала, делала эскизы и мылась. Заниматься я не бросала, потому что у меня ноги “сухие” и если бросить, моментально все потеряешь. Порой казалось, что этот ужас уже навсегда, порой надеялась, что что-то начнется, и нужно быть в состоянии двигаться. Ничего же не было известно!

— А где брали воду?

— В разных местах поблизости, там, где вода еще была. Помню, бра-

ла воду на проспекте Майорова у знакомой. Когда я возвращалась с ведром и большим кувшином, начался жуткий обстрел. Мама стояла в воротах нашего дома и кричала: “Брось все это, брось!” А я думаю: “Я это брошу, а потом останусь без воды и без ведра”. И доперла под обстрелом. Ты не обращала внимания, что колонны Исаакиевского собора все порезаны? Это от тех обстрелов.

— А бомбоубежище возле вас было?

— Было, но никто туда не ходил — не было сил. Наш дом, к счастью, не пострадал, а рядом на Почтамтской был полностью разрушен.

— Как вы ощущали себя в то время?

— Не могу сказать. Очень трудно передать психологию человека, попавшего в подобную беду. Трудно даже объяснить такое. Попробуй представить себе: ты идешь по улице и видишь грузовик, из которого торчат замерзшие тела, наваленные горы. Вспоминался “Пир во время чумы” Пушкина, только уже не телега, не негр-возничий, а грузовик. И ничего не можешь сделать, ничем не можешь помочь!

— Но было же хоть что-нибудь доброе, хорошее?

— Было. Один раз пришел какой-то летчик из Перми и передал посылку с едой — даже печенье там было. Ну, просто Божий дар. Это прислали Галя Кремшевская и Миша Георгиевский. Они, конечно, изумительные люди.

А один раз и я совершила поступок, которым горжусь. Я брала воду на Почтамтской — там во дворе был бассейн, и какая-то девица умоляла помочь ей — отнести воду на Исаакиевскую площадь в дом № 7 и поднять на четвертый этаж. Отдавала за это свой последний, быть может, кусок хлеба. Я сказала другим женщинам: “Постерегите пока мои ведро и кувшин”, пошла и отнесла воду безвозмездно, ведь у меня еще были силы. Это, наверное, самое доброе, самое бескорыстное, что я сделала в жизни.

Беседовала  
Ольга РОЗАНОВА